

делало это так же непосредственно, как ребенок, обвиняющий стол, о который он ушибся. Если камень катится с горы, очевидно, так захотелось этому камню, точнее—его душе; если с дерева падают плоды, значит, душа дерева пожелала их сбросить. Но эта точка зрения не может устоять перед растущим познанием. Рано или поздно, люди убеждаются, что камень сам по себе—существо в высшей степени спокойное и ни к какой инициативе действий не способное; он приходит в движение лишь тогда, когда получит толчок извне, или когда вода подмоет его опору, и т. п. Другими словами, у камня нет своей активной, властной воли, которая бы им управляла,—нет „души“. То же оказывается и относительно многих других тел. Но люди, животные, а также, по тогдашним понятиям, солнце, луна, звезды не таковы: они предпринимают разные движения без всякого наблюдаемого толчка извне; они, следовательно, сами собою управляют, т.-е. имеют „душу“, деятельную организаторскую сущность.

Область анимизма сузилась; но не надо думать, что его значение в жизни от этого уменьшилось. Интерес сосредоточился на человеческой душе; зато ею в ту эпоху мышление занималось особенно много, как показывает история большинства феодальных религий, с их усиленными заботами о спасении души.

— Каким путем душа теряла материальные свойства?

— Равным образом, вследствие прогресса знаний о телах. Напр., вскоре после того, как начали применяться весы, душа должна была сделаться невесомаю: люди не раз могли убедиться, что убитый ягненок весит столько же, сколько перед тем он весил живой. К убеждению в неосязаемости души приводило то, что, когда она уходила из тела в момент смерти, никому из окружающих не удавалось ощущать ее прикосновения и т. п.

— Что стало с идеей бессмертия души?

— Она получила более широкое развитие, чем прежде, и распространялась уже на всех людей. Это произошло вполне естественно. Первоначально бессмертными признавались только души организаторов. Но с разложением патриархальной общины число организаторов сильно увеличилось: каждый глава семьи был таковым в своем хозяйстве. Но и каждый из простых членов семьи мог в дальнейшем стать организатором особого хозяйства. Следовательно, „организующее начало“ или „душа“ присуще всякому человеку по самой его природе.

С этой точки зрения понятны средневековые богословские споры о том, есть у женщины настоящая, т.-е. бессмертная, душа, или нет. Женщина в тогдашней семье была существом в высшей степени подчиненным; властным главой семьи она стать не могла, или это случалось крайне редко; у людей наиболее последовательно мысливших само собой являлось сомнение, имеется ли в женщинах „организующее начало“ такое, как в мужчинах, т.-е. способное выходить в своих функциях за пределы их личного существования. На одном из поместных соборов духовенства Франции вопрос о душе женщины, по обсуждению, был поставлен на голосование, и разрешен благоприятно для женщин, но лишь большинством одного голоса.

Что касается, в частности, форм бессмертия души, то они в разных феодальных религиях представлялись различно: переход в особый загробный мир у германцев, арабов, переселение душ из одних организмов в другие—у индусов (в дальнейшем то же с освобождением души от всякого тела).

— Когда создалось понятие о вещах бездушных, то могла ли удержаться и по отношению к ним авторитарная идея причинной связи, т.-е. ее представление по образцу власти-подчинения?

— Для позднейшего мышления „душа“ нужна не только повелевающему, но и подчиняющемуся, чтобы вос-

принять и исполнить повеление. Но это вовсе не было так для мышления более наивного, не рассуждавшего о способности восприятия, о том, что она принадлежит специально душе, и т. п. Тогда, напротив, представлялось как нельзя более естественным и понятным, что телесное, неодушевленное подчиняется одушевленному, что, напр., вещи можно привести в движение магическими словами.

Но если причинная связь понималась по образцу или на подобие приказаania исполнения, то не надо думать, что в ней прямо, конкретно воображалось, напр., особое словесное приказание со стороны „причины“. В ней было только неопределенное сознание какой-то власти, какого-то господства на одной стороне, пассивности—на другой. А это сознание сохраняется постоянно в авторитарной причинности. О нем ясно свидетельствует характерное, в те времена казавшееся самоочевидным, убеждение, что причина всегда „больше“ или „выше“ своего следствия.

— Какое отношение к авторитарной причинности имеет идея „чуда“?

— Когда накопленный трудовой опыт дал людям знание множества причинных связей в окружающей их природе, когда, пользуясь этими связями, люди научились надежно, без неожиданностей, справляться со многими вещами, уверенно достигать определенными средствами намеченных результатов, тогда в мышлении стала все прочнее укореняться идея всеобщей закономерности явлений. Закономерность эта принималась, конечно, не в современном научном смысле, не как естественная необходимость, а как закон или правило, установленное для вещей какой-нибудь верховной волею: тем не менее, вера в найденную привычную связь фактов была очень глубокой и прочной, особенно, благодаря огромному консерватизму авторитарного сознания. Но время от времени случались события, не входившие в эту привычную связь, или прямо ей противоречившие: затмевалось солнце и появлялись звезды среди белого дня,—

или яркая комета проходила по небу,—или вдруг колебалась земля,—или рождался ребенок о двух головах,—или приходила невиданная болезнь и косила человеческие жизни, и т. п. Как должно было относиться к подобным событиям авторитарное мышление?

Верное себе, оно в них видело специальное вмешательство какой-нибудь высшей или верховной воли, нарушающее обычный ход вещей, и обозначало его, как „чудо“. Необъяснимое сразу этим объяснялось, беспримерное укладывалось в обычный круг понятий. Раз верховная организаторская воля устроила данный порядок мира, то почему не может она же, или по ее попущению другая, низшая божественная или полу-божественная воля, нарушить в известном случае этот порядок, в целях, напр., наказания, исправления, предостережения людей? Ведь властитель-человек, с которого копировались религиозным сознанием все высшие воли, позволяет себе иногда уклониться от им же изданной для подвластных нормы, нарушить им же организованный порядок.

Понятие „чуда“ не было возможно ни в первобытной идеологии, ни даже на первых ступенях анимизма, когда все вещи были одушевлены и, значит, способны к проявлениям произвола. Чудо же означает исключительный случай вмешательства свыше в установленный ход вещей, т.-е. предполагает прочно сложившуюся идею о нормальной их закономерности.

— Было ли понятие „чуда“ простым заблуждением?

— Для нынешней научной мысли оно, разумеется, не только заблуждение, а просто лишено смысла и содержания. Но для сознания авторитарного оно было полезным и целесообразным приспособлением. Все необычное, раньше не наблюдавшееся, не входившее в рамки старого опыта, должно было бы тогда разрушать и расстраивать столь важные для прогресса, для победы человечества над природою представления о постоянных связях, о закономерности явлений. Если, напр., неожиданно

тряслась земля, то могло бы исчезнуть всякое доверие к устойчивости почвы, без которого нельзя строить зданий. Понятие „чуда“ как бы отвлекало и отстраняло подобные факты от нормальной связи опыта, в качестве исключений, вызванных особым вмешательством свыше; этим идея постоянной закономерности оберегалась от их разрушительного действия. Есть пословица — „исключения подтверждают правило“. Она выражена плохо: исключения, конечно, правила не подтверждают; но, будучи специально выделены и указаны в качестве исключений, они позволяют уверенно пользоваться правилом в остальных случаях, и тем самым укрепляют его на деле. Такую роль играло „чудо“ в развитии понятия о всеобщей связи явлений.

d) Феодальные религии.

— Чем религии феодального периода отличаются от религий патриархального?

— Во-первых, разумеется, большей сложностью и богатством содержания. Во-вторых, они представляют устройство мира не по образцу патриархальной общины, а по образцу феодальной организации. В третьих, эти религии становятся основой жреческой эксплуатации масс, — хотя вообще служат отнюдь не для одной эксплуатации.

— Как именно представляется организация мира в феодальных религиях?

— Мир действительный дополняется воображаемым миром полу-богов, богов и высших богов, вплоть до одного верховного, образующих совершенно такую же цепь авторитетов, как иерархия жреческая или светско-феодальная. Между ними распределена власть над миром, как между феодалами власть над обществом. Различные стихии, различные стороны жизни людей — ленные владения отдельных богов, где они являются полновластными организаторами. У греков, напр., Зевс был высшим властителем мира; его собственным владением было небо, его ору-

жем—гром и молния. Крупнейшие вассалы Зевса были: Посейдон—властитель моря, и Плутон—подземной области; дальше следовали боги менее крупные, затем мелкие боги, полу-боги, в общем—целые тысячи. Развивавшееся общественное разделение труда в дальнейшем придавало многим богам характер специалистов, руководителей разных его отраслей; напр., Деметра, „мать-земля“, была также богиней хлебопашества. Гермес, бог дорог,—руководителем путешествий и вообще мирных сношений между людьми, в том числе не только торговли, но и родственного ей в те времена воровства; Гелиос-Аполлон, властитель солнца и света, был богом искусства, мифов и т. д. При этом, так как общая религия сложилась у греков на переходе от родового быта к феодальному, то она сохранила и много черт чисто патриархального строения: родственная связь между богами, совместная жизнь их на Олимпе и пр. Последовавший за феодализмом в Греции рабовладельческий строй мало изменил феодально-родовые черты народной религии, потому что в основе тоже был авторитарным.

Подобная картина повторяется и в других религиях феодального периода — древне-германской, славянской, индусской и др. Различны имена богов, распределение между ними территории вселенной и специальных функций, но та же иерархическая цепь, и сами боги—те же, только идеализированные, жрецы или светские феодалы. В иных религиях эпохи мелкие божества заменяются святыми, или пророками (у католиков, мусульман); но место и значение в системе остаются те же: то это божества территориальные, напр., определенные святые—покровители определенных городов и местностей, то заведуют определенными стихийными силами, как пророк Илья—громом и молнией, Николай Чудотворец—плодородием почвы, и т. п. Часто существует полное соответствие между иными божествами более древней „многобожной“ религии и заменившими их святыми более поздней, считаемой „единобожною“; иногда же новая религия,

вytesняя старую, принимает ее божества в другой только роли—в качестве злых властителей, дьяволов; так поступил, напр., католицизм со многими богами древности, которых он сделал феодалами подземного царства, организаторами зла и бедствий.

Всюду мир сверхъестественный в своем строении повторяет идеально мир общественный.

— Как отразилось на религии то обстоятельство, что при феодализме власть стала средством эксплуатации?

— Отношение богов к людям начало пониматься в смысле эксплуатации: жертва приняла характер дани, оброка. Социальная жизнь воспроизводилась в религии настолько точно, что, напр., у индусов не только люди обязаны были приносить жертвы богам, но и низшие боги высшим, а те верховным, как вассалы дань своим сюзеренам. Первоначально же, как мы знаем, жертва была просто выражением мыслимого сотрудничества между давно умершим предком-организатором и живым поколением, которым он продолжает руководить в труде, при чем, естественно, берет и свою долю в продукте для удовлетворения своих потребностей. Прежнее значение жертвы ясно выступает в том же индусском мифе: он утверждал, что верховные боги, древнейшие из всех, „приносили жертвы самим себе“. Это вначале означало просто вот что: древнейшие боги, сохранившиеся от патриархальной религии, как и подобает патриархам, сами вели хозяйство и распределяли продукт, сами брали в нем свою долю. Впоследствии смысл термина „жертва“ изменился, и простое описание факта приобрело загадочный, мифический характер.

— Каким образом религии феодального общества стали орудием эксплуатации?

— Жрецы пользовались своим положением посредников между людьми и богами для того, чтобы брать в виде пожертвований, „десятины“ и других религиозных оброков из народного продукта не только средства нормального

удовлетворения своих потребностей, но гораздо больше этого, так что жреческие организации накапливали огромные богатства и сокровища. Как мирные организаторы, необходимые для общества хранители опыта, руководители производства во всем, что выходило за пределы отдельных хозяйств или за пределы знаний их руководителей, жрецы не являлись, конечно, эксплуататорами, поскольку их поборы не превосходили нормальных потребностей, связанных с поддержанием их трудовой энергии. Но они, как и светские феодалы, шли дальше этого, и свою эксплуатацию, вначале умеренную, усиливали по мере развития общественного труда и роста феодального общества.

Чтобы увеличивать свои богатства и усиливать эксплуатацию, жрецы всячески расширяли и углубляли свое вмешательство во все дела своей паствы. В иных религиях, напр., в католическом и в православном христианстве, был установлен обычай исповеди, позволявший жрецам следить за каждым жизненным шагом каждого человека. К концу феодального периода его религии приобретали особенно устрашающий характер; картины ужасов загробной жизни служили для того, чтобы обострять заботу о спасении души, и таким образом упрочивать влияние жрецов. В пользу жреческих корпораций делалась масса завещаний, отдававших им земли и движимые имущества. В Зап. Европе к концу Средних веков в руках духовенства было больше трети земель, и притом лучших; а его богатства были несметны. Оно подчинило своей власти даже светских феодалов после долгой и жестокой борьбы: папы господствовали над королями и императорами. Чтобы упрочить свою экономическую силу, избежать ее раздробления между потомками, духовенство там обрело даже себя на безбрачие.

Но если феодальные религии были средством жреческой эксплуатации, то они отнюдь не являлись ее основой. Основой же была общественная полезность и необходимость жречества, как мирно-организаторского сословия. Связи общества были слабы; светские феодалы,

в силу своей военной специальности, были мало способны поддерживать его единство и сплоченность; это делалось почти всецело жреческими корпорациями. Они, насколько возможно, охраняли мир и ставили в рамки военно-грабительское буйство эпохи; они за счет накопленных богатств и запасов помогали жертвам бесчисленных войн — разоренным и калекам; они залечивали раны производства, руководя восстановлением экономической жизни в опустошенных местностях, и т. д. Из таких социально-практических функций вытекала идеологическая власть над умами.

е) Отношение феодальных религий к знаниям и искусству.

— Сохраняло ли знание при феодализме религиозные формы?

— В наибольшей доле, сохраняло, но уже не всецело. При феодализме начало развиваться, и чем дальше, тем определеннее, разграничение знания религиозного и светского.

— Каким образом возникало это разграничение?

— Знание было всецело религиозным, пока все оно оставалось „заветным“, традиционным, пока его накопление было неуловимо для самих людей, так что его источники естественно относились к отдаленнейшим предкам — божествам. Но в эпоху феодализма, благодаря расширению общественных связей, развитие ускоряется настолько, что в иных случаях прогресс уже замечен и на памяти отдельного поколения. Тогда вновь приобретенный опыт не может стать „священным“ и быть приписан древнему откровению. Появляется знание другого типа; по мере своего накопления оно начинает противопоставляться религиозному, как „светское“ или „мирское“.

Главную роль в его обособлении, как и вообще в его развитии, играли меновые связи. При обмене вместе

с чужими продуктами часто заимствовалась и чужая техника, а значит, и практическое знание. На своей родине это знание было „заветным“ и „священным“, шло от предков; но для другого племени или народа, к которому оно перешло, оно вовсе не таково, потому что здесь почитаются и обожествляются, как и там, лишь собственные предки. Напр., еврей в своих сношениях с шумерийцами и аккадийцами, древнейшими народами Месопотамии, приобретая от них металлические орудия, усвоили относящуюся к этим орудиям технику и знания. Но, конечно, эти заимствования у „потомков Каина“ или „сынов человеческих“ (в противоположность „сынам Божиим“—евреям) не вошли в религиозную сокровищницу, и попытка применить их в области культа, совершить, положим, обрезание железным ножом, была бы „осквернением святыни“. Напротив, практика обыденной жизни отказаться от них не могла и, следовательно, сама теряла прежний религиозный, т.-е. свято-традиционный характер.

Обособление жреческого сословия закрепляло противоположность знания священного и мирского. Жрецы ревниво охраняли религиозное знание, как свою привилегию, как опору своей власти и эксплуатации, отстраняли мирян от этой области знания; она приобретала окраску таинственного, магического, недоступного разумению простых смертных. Истины обыденные допускали обсуждение, разногласия; религиозные были непререкаемы, неизменны, требовали „слепой веры“, т.-е. на деле, слепого доверия к их носителям и провозвестникам—жрецам.

— Соответствовало ли тогдашнее разделение знания священного и мирского нынешнему разграничению между религией и наукой?

— Далеко не вполне: границы того и другого были совсем иные. Так как священным или мирским знание являлось не по внутреннему содержанию, а в зависимости от того, передано ли оно жреческой традицией, или по-

лучилось другими путями, то в области религий оставалось очень многое, что теперь относят к наукам. Напр., у египтян геометрия и астрономия были священными знаниями, потому что принадлежали всецело к жреческой традиции. На эти науки, можно сказать, опиралась вся власть и влияние жречества, его мирно-организаторская роль в жизни.

Дело в том, что плодородие египетской страны — долины Нила — основывалось на периодических разливах этой реки, и к ним должна была приспособляться вся организация сельского хозяйства. Но разливы — явления стихийные; чтобы справляться с ними, требовалось огромное накопление опыта и методы, которые мы называем научными. Необходимы были точные расчеты времени, какие могут достигаться только посредством наблюдений над движением небесных светил. Необходимы были затем грандиозные инженерные работы: плотины, каналы, гигантские резервуары для отведения излишка воды и пр. Выполнение всего этого немыслимо без геометрических приемов измерения и составления планов. Немыслимы без них и землемерные работы, столь важные там, где каждый разлив смывал границы между земельными участками общин и отдельных хозяйств. Жрецы владели этими знаниями, применяли их и хранили, как религиозную тайну. То, что современная наука выражает в отвлеченных формулах, для них выражалось в религиозных символах. Созвездия были священными животными небес; теорема, известная у нас под названием Пифагоровой, передавалась сочетанием символов трех главных божеств Египта: короткий катет означался Озирисом, богом Нила; длинный — Изидою, богиней земли; гипотенуза — их сыном, Горусом, богом плодородия, и т. п.

Есть основания полагать, что, напр., величайшая пирамида — Хеопсова — была не просто священным зданием, храмом-гробницей для царей, но и своего рода каменным учебником жреческой астрономии и геометрии и знаний, относившихся к разливам Нила. Весь этот опыт

закреплялся в положении, очертаниях, пропорциях, внутренней обстановке, скульптурах, барельефах, надписях пирамиды. Так, ее подножие отмечало границу самых сильных разливов Нила, ее четыре стороны — четыре стороны света, ее главный ход шел по направлению астрономической оси мира, внутри были изображены созвездия Зодиака, геометрические чертежи, и т. под.

Но когда грекам удалось вывести и усвоить через своих торговцев-путешественников тайны египетской астрономии и геометрии, то для них это не могло уже стать священным знанием, и религиозную символику египетских жрецов они отбросили, как чуждую. Для греков это были интересные и полезные истины, не более, — знание мирское.

Медицина же и у греков долго оставалась религиозной научной специальностью, тайною жрецов Асклепия.

Вообще, границы „божественного“ и „мирского“ в области знания были тогда различны у разных народов; но первое преобладало над вторым повсюду и по богатству содержания, и по практической важности.

— В каком отношении находилась религия к искусству?

Здесь намечалось то же разграничение искусства религиозного и мирского, и по аналогичным же причинам. Напр., еврейское предание рассказывает, что отец Авраама был художником и делал „идолов“, которых продавал окрестным племенам. Ясно, что для него самого эти „идолы“ не могли быть священными изображениями, потому что относились к чужим богам.

Но и в области искусства религиозное далеко преобладало над светским. В ту эпоху выступило новое искусство — архитектура и выдвинулось на первый план. Храмы и другие жреческие сооружения были объединяющими центрами, к которым тяготело население большей частью множества феодально-связанных между собою общин, иногда целых обширных областей, иногда целых стран. К храмам в дни, посвященные религиозным воспомина-

ниям, стекались тысячи людей, не имевших между собою прямой связи в будничной экономической жизни. Там они объединялись в гармонии общих молитвенных построений; а затем вокруг храма, под охраной его примиряющего влияния и могущества жреческой корпорации, они завязывали более практические связи, обменивались товарами, заводили знакомства, заключали договоры гостеприимства, и т. под.

— В чем заключается сущность архитектуры, как искусства, т.-е. ее организационная функция?

— Архитектура, подобно своей противоположности — музыке, есть своеобразный язык чувства; она выражает и обобщает человеческие настроения, но, конечно, длительные, устойчивые, вековые настроения масс. Целыми поколениями, иногда целым рядом поколений строились гигантские храмы феодальных религий; и художники-строители, дети своей эпохи, сознательно, а еще больше бессознательно, вкладывали в их каменные формы свои господствующие чувства, свою веру. Готические здания Средних веков, такие, как Кельнский собор, — самая яркая и простая иллюстрация смысла архитектурного „стиля“. Их стройные, стрельчатые, с огромной силой устремляющиеся вверх очертания идеальны-глубоко и живо воплощали порыв к отрешению от всего земного и быденного, порыв к небесно-далекому. Это — основное настроение католической религии, утешительницы масс, обещавшей им небо за муки этой жизни, которая среди земельной тесноты, необузданно-жестоких войн и под гнетом эксплуатации представляла значительное сходство с адом.

Архитектура закрепляла и непрерывно передавала от поколения к поколению преобладающие чувствования народов и классов. Так, архитектура древних римлян, с ее гигантским размахом и массивными формами, была истинным воплощением в камне гордости народа — покорителя мира; так, вслед за началом паразитического

вырождения какой-либо аристократии в ее стиле выступает возрастающее и все более причудливое усложнение форм, переход к тонкостям и ухищрениям, нередко в ущерб даже прочности и практической целесообразности создаваемого (стиль „барокко“, затем „рококо“), в этом выражается искание новых, утонченных ощущений, порождаемое пресыщенностью с ее притуплением восприятия, и т. под.

В эпоху феодализма воспитательное значение архитектуры было особенно велико. В тогдашней консервативной среде, организуя чувства потомков в соответствии с тем, что переживали их предки, она являлась хранительницей организующей традиции по преимуществу.

Скульптура и живопись храмов дополняли дело их архитектуры, также как и музыка богослужений.

— Почему светское искусство было много слабее религиозного?

— При феодализме религиозное искусство было не только жреческим, но и народным. Зарождавшееся же светское искусство связывалось, главным образом, с потребностями светских феодалов, поскольку они мало-помалу превращались в представителей эксплуатации, роскоши и наслаждения жизнью. Оно не имело корней в массах; это и было причиной его сравнительной слабости.

f) Письменность.

— В каком культурном периоде возникла письменность, и по каким причинам?

— В большинстве случаев начало письменности относится именно к эпохе феодализма. Два основных обстоятельства обусловили ее зарождение: 1) накопление опыта, настолько значительное, что его устная передача от поколения к поколению и прямое запоминание становились затруднительными; 2) развитие связей и сношений между людьми, пространственно отдаленными один от других.

Записи жрецов, надгробные надписи, указы феодалов, письма и кредитные документы торговцев—наиболее типичные памятники самой ранней письменности.

— Откуда произошла письменность?

— Из живописи, через целый ряд переходных форм. Рисунки служили естественным способом повествования и описания фактов; чтобы дать понятие об известном ряде событий, достаточно было их нарисовать. При этом являлось само собой стремление упрощать фигуры, чтобы больше выражать с меньшей затратой труда; напр., человека, дом, дерево изображали несколькими черточками общих контуров, на подобие того как рисуют дети. Затем подобная фигурка превращалась в обозначение не столько самого предмета, сколько звуков его названия; если слово имело не один смысл, а несколько, то все их выражали одним и тем же контуром, как если бы у нас, положим, косу—орудие, косу—женский головной убор и косу—разновидность мыса обозначали бы очертанием косы-орудия. Это уже можно назвать началом „пиктоглифов“.

Дальше, пиктоглифы приобретали характер палингов реbusов. Они применялись вроде того, как если бы мы, желая написать „чертеж“, сделали это посредством двух фигур, одна—„черт“ и другая—„еж“. При этом все же удобнее оказывались пиктоглифы односложных слов, которые и применялись, как знаки простых слогов. На таком, приблизительно, уровне осталась древняя письменность Китая.

Затем пиктоглифы стали обозначать отдельные звуки и превратились в настоящие „буквы“. Их очертания до такой степени упростились и изменились, что в них нельзя уже было и узнать первоначальных рисунков.

— Насколько широко при феодализме была распространена письменность?

— Употребление письменных знаков являлось обычно привилегией жрецов. Кроме них, писать и читать учились немногие высшие феодалы; другие научались только подписывать свое имя на актах, большинство не шло и до этого.

Для народной массы письменность представляла недоступную тайну, проникнуть в которую удавалось разве лишь немногим предприимчивым торговцам. Функция письменности—мирно-организационная; ее и держали в своих руках, почти всецело, мирные организаторы—жрецы.

г) Развитие обычая.

— Какие основные изменения выступили в области общественных норм за период феодализма?

— Из обычая выделилось обычное право, а затем право—закон, чаще всего называемое „писанным правом“.

— Чем обычное право отличается от простого обычая?

— Обычное право характеризуется тем, что оно имеет особые, специальные органы для его соблюдения и выполнения, напр., суд, общинный, сенъериальный, жреческий. Обычай же отдельного органа не имеет, его носителем и исполнителем является община, племя, общество в целом. Если же патриарх и был в свое время по преимуществу хранителем и истолкователем обычая, то именно как организатор всей жизни и деятельности родовой группы, а не в качестве, напр., специально „судьи“.

— По каким причинам обычное право выделилось из обычая?

— При родовом быте нарушение обычая было случаем совершенно исключительным, и создавать для него особые органы вовсе не требовалось. Феодальное общество не обладало сплоченностью и простотой отношений патриархальной общины; противоречия интересов и внутренние столкновения там несравненно чаще, и нарушения норм обычая весьма многочисленны. С ними приходилось бороться постоянно, систематически; оттого и понадоби-

лись специальные учреждения—судебная власть, которая судила „по обычаю“. Эта власть принадлежала частью общине, которая поручала ее своим выборным, частью—феодалам светским и духовным, которые могли передавать ее своим доверенным лицам, иногда же судили сами или совместно с этими назначенными судьями.

— Какие условия породили право формальное или писанное?

— Право обычное часто оказывалось недостаточным, потому что, во-1), ход жизни приносил и новые столкновения, противоречия, преступления, вовсе не предусмотренные старыми обычаями; во-2), иногда, и притом все чаще, возникали споры и тяжбы между людьми из местностей, где обычаи были неодинаковы, так что прежние нормы оказывались во взаимном противоречии, решение становилось невозможным без вмешательства новой нормы, которая должна была специально вырабатываться.

Такие нормы издавались высшими феодалами или корпорациями феодалов, жрецов, и назывались „законами“. За ними не было вековой традиции, так что они легко могли бы искажаться или забываться, если бы старательно не записывались и при посредстве записей не сохранялись в точности. Отсюда термин—„право писанное“.

— Уступил ли древний обычай место всецело праву обычному и формальному, или продолжал также сохраняться и в своем прежнем виде?

— Значительная доля норм обычая не перешла в ведение правовых органов, а осталась вне их, в общественном сознании разных сословий. Приводить судебный аппарат в действие по поводу каждого, хотя бы мелкого, проступка против старых норм было невозможно: понадобилась бы чрезмерная затрата времени и энергии; суд выступал на сцену лишь тогда, когда ошутительно затрагивались интересы общества или власти. В остальных случаях правовые органы не вмешивались; но коллектив не мог остаться равнодушным к нарушению его органи-

зационных норм; он воздействовал не материальной силой, потому что это было функцией правовых органов, а своим порицанием. Напр., ложь, трусость, неопрятность противоречили старым обычаям, как явления, ослабляющие связь коллектива; но пока они не наносили очевидного для всех реального ущерба чьим-либо интересам, судить за них не приходилось. Но общественное мнение клеймило подобные факты, как „грех“, „порок“, „бесчестие“, „неприличие“; это было смягченное, но широко-массовое воздействие на уклоняющуюся от норм личность, иногда по своим результатам более сильное, чем правовое.

Не-правовые нормы обычая, таким образом, приняли вид норм „добродетели“, „чести“, „приличия“, т.-е. приобрели тот характер, который мы выражаем словом „нравственность“.

— Были ли нормы права и обычая-нравственности одинаковы для всех сословий феодального общества?

— Нет. Эти нормы—организующие приспособления; а так как в феодальном мире организационная роль сословий была различная, то понятно, что и нормы для них складывались разные. „Права“ каждого сословия отличались от „прав“ другого; равным образом несходны были их „добродетели“, их „честь“, их „приличия“.

То, что являлось страшным преступлением для одного сословия, рассматривалось как нечто дозволенное или как едва наказуемый пустяк для другого. Напр., если феодал убивал крестьянина, он в худшем случае платился за это штрафом; если крестьянин убивал феодала, хотя бы защищая свою жизнь, его неизменно ожидала жестокая казнь. Для феодала или солдата поединок был делом „чести“; для жреца—великим „грехом“, для крестьянина—преступлением. „Добродетели“, которые прежде всего требовались от духовного лица в феодальной Европе, были смирение и кротость. Их организационный смысл очевиден: они обеспечивают, с одной стороны, дисциплину

внутри духовной иерархии, с другой—легкость сближения и общения духовенства с руководимой паствой. Нечего и говорить, что на деле эти добродетели были чаще всего лишь внешней формой: „смирение“ жрецов, напр., епископов, пап, наших патриархов и митрополитов хорошо известно из истории,—да оно и на деле мало совместимо с высоко-организаторскими функциями; а их „кротость“, запрещавшая им, напр., проливать кровь, выражалась в том, что епископ или аббат в случае надобности дрался палицей вместо меча, и в том, что духовный суд приговаривал еретиков к сожжению, как „бескровной“ казни. Но эта форма сохранялась века и дошла до наших времен. Для феодала „добродетелью“ или „честью“ являлись родовая гордость—условие достойного поддержания наследственной власти, храбрость и свирепость—условия успеха в военно-организаторской функции. Добродетели крестьянина—покорность и терпение—понятны сами собой.

— Как относилась религия ко всем этим кастовым нормам права и обычая?

— Как всеобщая организационная форма самого феодального строя, она все их освящала.

h) Общая характеристика феодальных идеологий.

— В чем феодальные идеологии сходны с патриархальными?

— Они также авторитарные и религиозные, по своей тенденции—консервативные,—черты, обусловленные авторитарным строением общества.

— В чем феодальные идеологии отличаются от патриархальных?

— Во-1), несравненно большая широта и богатство содержания, как результат расширения рамок самого общества. Быть может, самым ярким выражением этого богатства являются великие народные эпосы, которые

складывались при феодализме: индусская Магабгарата, германская Эдда, финская Калевала, греческие поэмы Гомера, все гигантские сокровищницы народного опыта.

Во-2), на той же основе—роста социальной организации, роста общения людей,—гораздо большая фактическая гибкость идеологий. Они развиваются во много раз быстрее, и самые формы их разнообразнее.

В 3), религиозная оболочка не охватывает мышления полностью. На почве обмена опытом между людьми, имеющими традиции разного содержания, возникает „светское“, „мирское“ знание, искусство. Преобладание, тем, не менее, остается весьма значительное за религиозным знанием и искусством. Усложнение жизни, ее растущие противоречия намечают переходные типы и в области норм: обычай—право, обычай—нравственность.

В 4), сословный строй порождает и сословные идеологии: священное знание, как привилегию жречества, специальные права и нравственность жрецов, сеньеров, простого народа. Но эти сословные идеологии не находятся в борьбе между собою, как впоследствии классовые, а мирно сожительствуют, признавая друг друга, взаимно дополняя друг друга в качестве различных органических опор единого феодального строя. Для крестьянина привилегии жрецов, сеньеров, их иные понятия о правах, чести, добродетели представляются фактом нормальным и непреложным; мысль о борьбе против кастовых перегородок ему чужда.

Когда же сословные идеологии вступают в борьбу, это означает, что феодальное общество переходит в новое, чуждое его единства и цельности, в общество чисто классовое, капиталистическое.

Период индивидуалистических идеологий.

1. Идеально-индивидуалистическое общество.

— В чем главная трудность исследования индивидуалистических идеологий?

— В том, что они исторически никогда не являлись хотя бы в приблизительно чистом виде, а всегда со значительной примесью иных, переплетенных с ними самым тесным образом, в живой, органической связи.

— Каким способом всего проще и легче преодолеть эту трудность?

— Путем самого широкого применения абстрактного метода. Надо выделить основные тенденции, которые порождают индивидуализм в самой жизни, в трудовой практике, и на них построить картину идеального индивидуалистического общества, которого, разумеется, нет и не было в действительности, но которое даст нам упрощенную схему, удобнейший исходный пункт для исследования. Затем, в соответствии с техникой и экономическим строением этого мыслимого общества, можно выяснить необходимые, основные черты его идеологии, как системы организующих его приспособлений. Потом от идеально упрощенной картины надо будет перейти к исторически-наблюдаемым общественным системам, во всем их смещении форм, и проследивать, как в самой практике и в идеологии соединяются тенденции

индивидуалистические с иными, напр., с изученными раньше — авторитарными.

— Имеются ли уже в науке примеры такого способа изучения общественных явлений?

— Да, он с успехом применяется в политической экономии. В виду крайней сложности экономических процессов капитализма, его абстрактное исследование начинают именно с построения схемы идеально-упрощенного менового общества, а затем от нее, вводя одно за другим усложняющие условия, переходят к реальным капиталистическим системам, как они развивались в жизни.

а) Техника и экономика идеально-индивидуалистического общества.

— Как следует представлять идеально-индивидуалистическое общество?

— Как общество независимых мелких товаропроизводителей. Это — именно то „абстрактное меновое общество“, которым пользуются как исходной точкой экономического анализа капитализма и родственных ему организаций.

— Как характеризовать технику такого общества?

— Во-1), множественностью обособленных технических методов; во-2), мелкими размерами производства в каждом отдельном хозяйстве.

Производство распадается на ряд специализированных отраслей с особыми орудиями и приемами. Каждая отрасль состоит из индивидуальных предприятий, где единственный работник, одновременно организатор и исполнитель, ведет своими силами весь технический процесс, очевидно, в размерах соответственно мелких, как ремесленник или крестьянин-земледелец.

— Чем характеризуется экономика такого общества?

— Неорганизованным или, точнее, анархическим сотрудничеством, обменом товаров, частной собственностью.

Специализированные предприятия не способны существовать иначе, как работая одни на другие: сапожник, кузнец не могут питаться своими продуктами, крестьянин — сам делать свои орудия, и т. п. Следовательно, они находятся в сотрудничестве, которое называется „общественным разделением труда“. Но в своей внутренней жизни каждое предприятие организовано независимо от других, они не объединены какой-либо планомерно руководящей волей, индивидуальной, как воля патриарха в древней общине, или коллективной. Таким образом, в своем целом сотрудничество является „анархическим“.

Связь между предприятиями реализуется при посредстве обмена их продуктов. Рынок товаров заменяет объединяющую организацию в экономике общества.

Индивидуальное ведение предприятий и обмен между ними предполагают частную собственность производителя на орудия и продукты его труда.

— Консервативная или прогрессивная тенденция господствует в технике и экономике менового общества?

— Мы видели, каким образом консервативная тенденция вытекает из условий авторитарного сотрудничества. Здесь этих условий нет. Здесь, напротив, существует рыночная борьба и конкуренция, как результат анархичности сотрудничества. В этой борьбе побеждают и экономически выживают те производители, которые производят продукты более совершенными способами и которые лучше других умеют устроить свои экономические связи. Значит, имеется прямой жизненный интерес для производителей в развитии техники их труда и в расширении их экономических отношений: тенденция прогрессивная.

— Как влияет неорганизованность производства в целом на судьбу производителя?

— Он попадает под власть экономической необходимости, которая есть не что иное, как господство над людьми общественно-трудовых отношений.

Производитель экономически вынужден нести свой продукт на рынок, потому что при специализации производства он не может жить прямо этим продуктом. На рынке он экономически вынужден подчиняться тем ценам, которые там находит, которые не им установлены и на которые он лично не в силах заметно повлиять. Если цены окажутся неблагоприятны для него, он не выручит за свой товар столько, чтобы приобрести достаточные средства для жизни и для дальнейшего ведения своего предприятия, тогда наступает разорение, экономическая гибель. Вполне гарантировать себя против такой возможности нет никаких способов: несмотря на величайшие усилия, на большое искусство в своем деле, он не продаст за достаточную цену или вовсе не продаст своего товара, если другие производители той же отрасли доставили на рынок его чрезмерное количество, так что предложение сильно превысило спрос общества на товар. Производитель разорится и тогда, когда нужных ему средств труда не хватает на рынке, так что ему не удастся их купить, или придется заплатить непосильно-высокую цену. Планомерной общей организации производства нет, и потому предложение всегда может расходиться со спросом, к неожиданной выгоде для одних, к ущербу для других, при чем ни те, ни другие не способны как вызвать подобную конъюнктуру, так и избежать ее.

Специализация расширяет и совершенствует производство; благодаря этому человек выходит из-под власти природы, тяготевшей над ним в более ранние эпохи, с их авторитарно-организованным, но узким и консервативным хозяйством. Зато анархичность меновой системы ставит человека под власть общественных отношений в образе не зависящих от него условий рынка.

б) Формы речи.

— Какие черты языка вытекают из основных условий меновой организации общества?

— Богатство и гибкость, соответственно широте и сложности системы сотрудничества; специализация языка, в зависимости от специализации труда.

Меновое общество может неограниченно расширяться и разрастаться, в противоположность авторитарному, для которого пределом служит ограниченность индивидуальной природы организатора: меновое общество такого организатора для системы производства не имеет, а меновые связи способны разветвляться цепью без конца. При этом растущее многообразие условий труда, его средств, его приемов, его продуктов, неизбежно должно выразиться в растущем богатстве их обозначений, т.-е. слов-понятий.

Отношения между предприятиями менового общества не только сложны, соответственно их разнообразию и бесчисленным актам необходимого общения между ними на основе обмена, но, кроме того, имеют изменчивый и колеблющийся характер: разные стадии торга-борьбы между покупателем и продавцом, разные степени конкуренции между наличными продавцами или покупателями, изменяющиеся уровни спроса, предложения, цен... Чтобы успешно выражать такие сложные, постоянно варьирующие соотношения, требуется язык в высшей степени гибкий, „пластичный“, допускающий точную передачу новых и новых оттенков.

В общественной специализации каждая обособленная отрасль неизбежно вырабатывает ряд слов и выражений, которые имеют значение почти исключительно в ней и для нее: многие термины сапожного дела, касающиеся подробностей его техники, лишены всякого интереса для кузнеца или крестьянина и не интересуют их, не запоминаются ими; так же и в любой специальности. В об-

ций, для всех понятный язык входят, обычно, лишь те термины сапожного, кузнечного дела, и т. д., которые относятся к готовому продукту, выносимому на рынок, и к его применению или потреблению: кто покупает сапоги и носит их, тот в собственных интересах должен знать, что такое „подошва“, „каблук“, „подъем“; но не всегда знает, что такое „дратва“, а слушая разговор сапожников об их работе, очень многого бы в нем, наверное, не понял.—Таким образом, рядом с языком, на котором говорит все общество и посредством которого организуется его экономическая связь в целом, развиваются, как отходящие от него приатки, особые области языка специального, число которых тем значительнее, чем больше отраслей в общественном разделении труда.

— Годятся ли языки изученных нами периодов культуры для общества идеально-менового?

— Языки феодальной эпохи, хотя и не вполне соответствуют его потребностям, весьма близко подходят к ним и по богатству, и по гибкости форм, а также заключают в себе и начало специализации. Это зависит, с одной стороны, от широты и сложности феодальных организаций, с другой стороны,—от того, что общественное разделение труда в них уже есть, хотя и в ограниченной степени, что обмен там—явление постоянное и важное в экономической жизни, хотя еще и не преобладающее.

с) Мышление вообще.

— Какие черты мышления вытекают из уже рассмотренных нами условий меновой организации общества?

— Во-1), богатство, пластичность или гибкость, а также частичная специализация—по тем же самым причинам, как и для речи, потому что все ее черты necessarily свойственны и мышлению, которое есть внутренняя речь.

Во-2), прогрессивная тенденция, т.-е. стремление к совершенствованию форм,—потому что оно, как мы знаем, имеется в технической и экономической жизни менового общества, в тех областях, которые дают основное содержание мышления.

— Какие еще основные черты мышления порождаются строением менового общества?

— Отвлеченный фетишизм в разных его видах, которые мы изучим один за другим. Основа же их общая, именно, вот такая.

Меновая организация есть общество, т.-е. прежде всего—система сотрудничества. Но сотрудничество это, как мы знаем, „неорганизованное“, точнее—анархичное, и благодаря этому оно отнюдь не обладает очевидностью. Каждое предприятие внешним образом, независимо от других, работает отдельно от них, и только на рынке вступает в прямую связь с ними. Но там эта связь принимает очень своеобразную форму: форму борьбы. Покупатель и продавец, в действительности, сотрудники: если они, произведя товары, обмениваются ими, то оба работали, объективно, друг на друга, или вернее — на общество. Два производителя-конкурента тоже—сотрудники, потому что труд их одинаково создает продукт для рынка, т.-е. для общества. Тем не менее интересы покупателя и продавца на рынке сталкиваются, равно как интересы конкурентов. Продавец стремится дать своего товара как можно меньше за цену возможно большую; покупатель стремится получить его товар по наименьшей цене; отсюда—борьба в виде „торга“. Конкурент старается отбить покупателя у всех других конкурентов; отсюда—борьба рыночного соперничества, еще более ожесточенная. Где же товаропроизводитель увидит сотрудничество? Он не может его видеть: сотрудничество скрыто под внешней самостоятельностью предприятий, замаскировано борьбой. И товаропроизводитель не мыслит ни общества, как трудового коллектива, ни себя и других членов его, как сотрудников.

Он мыслит общество, как совокупность отдельных личностей, противостоящих друг другу, с особыми для каждой, сталкивающимися в жизненной борьбе, интересами.

Закон приспособления требует, чтобы он мыслил именно так, а не иначе. Ведь если бы он представлял себе человека, с которым торгуется на рынке, или конкурента, как сотрудника в общем деле, то не был бы способен отстоять против него свои интересы, и обрекался бы тем самым на экономическую гибель.

Этот извращенный с нашей точки зрения, но необходимый в меновом обществе способ мышления мы будем называть отвлеченным фетишизмом. „Отвлеченный“ он потому, что от сознания людей „отвлекает“ самое основное и главное в их жизни—общественно-трудовую связь.

Отвлеченный фетишизм проходит по всей линии общественного сознания в меновой организации, проникает насквозь, все ее идеологии.

д) Отвлеченная причинность—„необходимость“.

— В какой области жизни, каким путем возникает первоначально идея отвлеченной необходимости, и в чем ее сущность?

— В экономической жизни, на основе отношений рынка; первообразом отвлеченной причинности является экономическая необходимость, которая, как мы знаем, есть не что иное, как власть общественных отношений над людьми.

Производитель по опыту знает, что он необходимо должен нести свой товар на рынок и необходимо подчиниться тем ценам, которые там найдет. Он знает, что там его действия связаны с действиями других людей, но какой связью? Покупатель предложил ему известную цену; он отдал за нее товар. Акт одного человека вызвал соответственный акт другого; это—причинная связь; однако,

это не просто приказание-исполнение, как в авторитарном сотрудничестве.

Патриарх общины говорил одному из ее членов: „дай мне сделанное тобой платье“, и тот отдавал, — при чем понимал, что не может поступить иначе. Покупатель говорит продавцу тоже, как будто в повелительном наклонении: „дай мне сделанное тобою платье за полфунта серебра“; продавец исполняет и опять-таки сознает, что при данной рыночной конъюнктуре не может поступить иначе: такова на рынке цена, и если он ее не возьмет, то не пойдет покупателя, а продать товар необходимо. Но если предложение покупателя — причина, а уступка товара — следствие, то все-таки товаропроизводитель сознает, что воля покупателя для него — не власть, не авторитет, и покоряется он, продавец, вовсе не этой воле. Покупатель не может получить товар, предложив меньше данной цены, потому что такова конъюнктура рынка. Никакими усилиями не изменить ее ни тому, ни другому, и они оба подчиняются ей одинаково. Если бы конъюнктура была иная, иной была бы и „причина“, и „следствие“. Это — необходимость, которая вызывает и причину, и за нею следствие, которая их связывает и господствует над ними, но лежит не в причине и не в следствии.

Что же она такое? В действительности она — общественно-трудовая связь людей. Для жизни общества необходимо, чтобы такое-то количество труда, заключенное в одном продукте, обменивалось на такое-то количество труда, заключенное в другом продукте; это необходимо, потому что этим способом удовлетворяются потребности производства, без чего оно не могло бы продолжаться. Цена понижается, если данного продукта на рынок доставлено больше, чем требуется обществу; повышается, если его недостаточно, — потому что необходимо в первом случае сокращение, во втором — расширение производства этого продукта, для чего и служат цены невыгодные и цены исключительно выгодные. Словом,

это—необходимость общественной организации производства. Но так ли понимают ее сами подчиненные ей товаропроизводители?

Отнюдь нет. Нам известно, что для их сознания общественно-трудовая связь недоступна, скрытая за борьбою интересов. Значит, что же такое для них экономическая необходимость, которая на деле как нельзя более несомненна, потому что сурово дает себя чувствовать на каждом шагу их экономической жизни? Она — просто „необходимость“, и только, и ничего больше. В ней нет никакого иного содержания, ничего, кроме того, что она — необходимость, против которой ничего нельзя поделать, закономерность невидимая, которую невозможно представить в живом образе,—и тем не менее неопреодолимая.

Она — отвлеченное понятие; потому мы и называем ее „отвлеченной причинностью“.

— При таком понимании причинной связи мыслится ли причина, как нечто большее, высшее, чем следствие?

— Нет, для этого никаких оснований не имеется, — еще одно различие с древней, авторитарной причинностью. И предложение со стороны покупателя, и уступка ему товара продавцом одинаково вызваны необходимостью, одинаково подчинены ей, и в этом смысле равны перед нею.

— Как разворачивается цепь причин-следствий под экономической необходимостью рынка?

— Она воплощается в процессах обмена товаров, а значит, и разворачивается как цепь этих процессов. Иван предложил Петру полфунта серебра за одежду — причина; Петр уступил ему одежду — следствие. Но затем Петр сам становится покупателем и предлагает полфунта серебра другим продавцам за известное количество тканей, ниток, игл, жизненных средств, чтобы дальше жить и производить платье; те на вырученное серебро покупают

то, что нужно им для жизни и работы, и т. д. Если покупка—причина продажи, то продажа эта становится затем причиною новой покупки, та—новой продажи, та—опять покупки, и акты товарообмена идут причинной цепью без конца.

В этом—еще различие с авторитарной причинной связью, в которой ряд звеньев непременно обрывается на какой-либо „первопричине“, как само авторитарное сотрудничество всегда имеет начальное звено в виде какого-либо верховного организатора.

— Остается ли отвлеченная причинность только в сфере мышления об экономических отношениях рынка, или идет дальше?

— Как в свое время авторитарная причинность, и эта, сложившись в экономической области, распространяется затем на все мышление. Постоянная связь явлений всякого рода в жизни и во внешнем мире понимается по образцу, внушенному экономической необходимостью: явление А необходимо влечет за собою явление В; необходимо—и только; между тем и другим нет ничего, кроме голой идеи о принудительности, неизбежности перехода от А к В.

Для иллюстрации сравним причинный ряд фактов в авторитарном и в „отвлеченном“ его понимании.

Пусть ветер с моря принес дождевые тучи, дождь увлажнил и смягчил сухую растрескавшуюся почву, поля и луга зазеленели. Для народного сознания патриархальной или ранней феодальной эпохи дело представлялось, примерно, в следующем виде. Специальное божество повелело ветру дуть с моря; ветер распорядился, чтобы туча с дождем пришла в данную местность; дождь приказал почве стать мягкой и влажной; это изменение почвы „вызвало“ травки из земли.—В сознании человека меновой организации та же цепь событий принимает иную форму, приблизительно, такую:

По какой-то еще невыясненной, но необходимой причине возник ветер с моря. Движение ветра необходимым

образом повлекло перемещение дождевой тучи, состояние которой в известный момент необходимо обусловило дождь. Дождь имеет неизбежным следствием изменения в почве, они же, в свою очередь, — развитие зелени на полях и лугах. Ветер, дождь, почва, трава равно бездушны и никакой „властью“ одни над другими не обладают. Все события ряда вызваны одной и той же непреложной необходимостью, которая для вселенной есть то же, что конъюнктура для рынка. Эта необходимость обусловила один факт, как причину, и за ним другой, как его следствие, а затем третий, как следствие того следствия, и т. д., без конца. Но и первый факт имеет за собой предшествующую ему причину — порождение той же необходимости; эта еще невыясненная причина — другую, третью; и ряд в прошлое продолжается опять беспрерывно.

— Представляет ли отвлеченная причинность способ мышления более совершенный и прогрессивный, чем авторитарная?

— Да. Во-1), тут понимание закономерности глубже, — произволу нет места: если необходимость вызвала определенную причину, то она вызовет за нею непреложно и соответствующее следствие; зная их связь, можно предвидеть безошибочно, потому что необходимость, безличная и отвлеченная, не знает капризов, не принесет неожиданностей. В авторитарной же причинности всегда остается и элемент произвола, по крайней мере, в первой причине ряда, которой предвидеть нельзя, потому что это — какая-нибудь высшая воля.

Во-2), разветвляясь бесконечно, отвлеченная причинность побуждает сознание искать причин дальше и дальше, не останавливаясь на какой-либо из них, не удовлетворяясь достигнутым объяснением. Авторитарная же останавливается и удовлетворяется, дойдя до какой-нибудь высшей и потому неисповедимой воли: покорный исполнитель ведь не может предвидеть воли организатора.

— Каким путем должен был совершаться переход от причинности авторитарной к отвлеченной?

— Переход от организации авторитарной, напр., феодализма, к меновой происходил благодаря прогрессу техники и росту специализации. То и другое соединялось как с расширением знания, так и с возрастанием его точности. Причинные цепи удлинялись, приобретали больше определенности, элемент произвола в них слабел и отодвигался в даль; то, что приписывалось раньше прямо воле какого-нибудь „духа“ или божества, находило в накоплявшемся опыте естественные причины; то, что считалось одушевленным, оказывалось бездушным. Идея „власти“ причин над следствиями стусевывалась и бледнела: чем одно безжизненное явление выше другого такого же? Оставалась и усиливалась принудительность связи между ними; но эта принудительность все меньше приписывалась самим причинам, которые опускались к одному уровню со следствиями; она все больше поэтому отделялась от самых звеньев причинной связи и уходила куда-то за них, как тяготеющая над всеми ими одинаково. Так она принимала мало-по-малу характер отвлеченной необходимости.

Но облечься вполне в эту форму она могла только тогда, когда сознание людей было воспитано в достаточной мере экономической необходимостью рынка, и люди в самой жизни привыкли ощущать принудительность, не связанную ни с каким живым, конкретным властелином. Пока старая привычка мысли—соединять всякую принудительность с человеческой или человекоподобной властью—еще сохранялась, и сама необходимость представлялась в образе особого божества. Такова была у греков „Ананкэ“, властвующая даже над богами, суровая, непреклонная богиня, но уже с неясными чертами, не похожая на светлых, одаренных плотью и кровью богов Олимпа, и живущая где-то далеко, не вместе с ними. Имя же Ананкэ означает прямо—припуждение, необходимость.

е) Товарный фетишизм.

— Что такое „товарный фетишизм“?

— Это—своеобразное извращение экономической действительности в сознании менового общества. Товарам, продуктам человеческого труда, приписываются отношения, которые на деле суть отношения самих людей. Это происходит следующим образом.

Принужденный постоянно подчиняться колебаниям товарных цен, товаропроизводитель, конечно, наблюдает их с усиленным вниманием. При этом для него выясняется, что в ценах, несмотря на колебания, есть устойчивая закономерность: для каждого товара они тяготеют к определенному уровню, то поднимаясь выше его, то опускаясь ниже, но никогда надолго и очень сильно от него не удаляясь. Отсюда у него возникает понятие о „ценности“ или „стоимости“ товара; это—основа цен, уровень, к которому они тяготеют, закон, от которого они не могут чрезмерно отклоняться: каждый товар имеет свою особенную „ценность“, и сообразно ей обменивается на большее или меньшее количество других товаров. Что же она такое?

В действительности, она выражает общественное отношение, а именно—разделение труда между производителями. Обмен товаров есть распределение в меновом обществе продуктов труда; оно, конечно, не может быть случайным, а должно совершаться, по закону приспособления, так, чтобы потребности общества удовлетворялись, чтобы производство могло продолжаться и развиваться. Экономическое исследование показывает, что для этого товары должны обмениваться в соответствии с количеством труда, которого они стоят при данной технике общества; „ценность“ товара и определяется суммой общественно-необходимого труда, в нем заключенного. Обмен товаров есть обмен работы, разделенной между людьми-сотрудниками.

— Но так ли понимает дело сам товаро-производитель?

— Нет, потому что для этого ему надо было бы видеть общественный характер своего труда, что, как мы уже знаем, для него невозможно: борьба интересов заслонила от него сотрудничество.

— В таком случае, что же для него „ценность“?

— Она для него просто „ценность“, и ничего больше: свойство товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции. Он не может отнести ее к природе общества, которой не сознает, и относит к природе самого товара. Он полагает, что алмаз имеет высокую ценность именно в силу своих алмазных свойств, уголь — низкую в силу своих угольных качеств. Она объясняет для него и самую возможность обмена товаров, и закономерность в нем.

Если платье обменивается на полфунта серебра, то в сознании товаропроизводителя это представляется отношением между самими товарами, а не между людьми, которые их произвели. Так переворачивается реальность жизни: отношения людей принимаются за отношения вещей.

Товарный фетишизм есть, в то же время, и отвлеченный — одна из его разновидностей. „Ценность“ приписывается природе самого товара именно потому, что лишена в сознании менового общества своего истинного содержания, принадлежащего природе социальной.

— В каком отношении находится фетишизм товарный к натуральному, или к „анимизму“?

— Между ними есть и родство, и своего рода противоположность. „Ценность“ товара сравнивают с „душой“; и действительно, роль „ценности“ аналогична роли души, — она как бы управляет передвижениями товара в процессах обмена, его рыночной жизнью. Но „души“ вещей у анимиста — живые образы, а „ценность“ това-

ров в сознании товаропроизводителя—безжизненная отвлеченность. Анимизм предполагает незнание человеком сил и свойств предметов внешнего мира, т.-е. недостаток власти человека над природою, преобладание власти природы над ним; товарный фетишизм основан на непонимании человеком его трудовых связей с другими людьми, на власти над ним общественных отношений. Анимизм превращает связь вещей природы в авторитарное сотрудничество, т.-е. в производственное отношение; товарный фетишизм—разделение труда в способность товаров взаимно обмениваться, т.-е. производственную связь в отношение между вещами.

— Следует ли считать товарный фетишизм простым заблуждением?

— Он, разумеется, заблуждение с точки зрения более высокой, чем мышление менового общества; но для этого именно общества это вовсе не так: там товарный фетишизм есть наиболее простой, наиболее практически-удобный, наименее противоречивый способ понимания фактов. Хотя мы знаем, что меновая ценность скрывает под собою кристаллизованный общественный труд, но когда мы покупаем себе платье за десять рублей, нам нет никакой пользы мыслить общественный труд, заключенный в платье и в золотой монете, сравнивать его количество и заботиться об их соответствии. Напротив, это могло бы только затруднить и запутать наши расчеты, поставить нас в противоречие с нашими собственными интересами, даже если бы у нас имелись способы для точного учета количества труда в товарах. Во всяком случае тут оказалась бы практически-бесплодная затрата энергии, потому что мыслить „ценность“ в отвлеченном, пустом виде много легче, чем мыслить это понятие с его сложным общественно-трудовым содержанием; а между тем первого для нашей экономической цели—покупки товара за деньги—вполне достаточно. Для меновой организации фетишизм есть приспособление целесообразное,

и потому для нее он „объективен“, он — не заблуждение.

Но как только нам потребуется выяснить законы развития менового общества, так точка зрения фетишизма уже недостаточна и ошибочна: она означает подчинение отношениям этого общества; а понять их развитие, представить себе путь их перехода в новые может лишь тот, кто преодолел их, хотя бы мысленно. Тогда надо подняться над этим общественным строем, сравнивать его с другими формами организации; фетишизм разоблачится, и наше исследование освободится от порождаемых им ошибок.

f) Индивидуальное хозяйство и частная собственность.

— Существует ли индивидуальное хозяйство в точном смысле этого слова?

— В действительности такого не существует; даже хозяйство Робинзона, выброшенного на пустынный остров, не вполне индивидуальное, если ему удалось спасти какие-нибудь орудия, произведенные трудом других людей. В обществе же меновом каждый живет почти всецело продуктами чужой работы, получаемыми путем покупки-продажи; и потому следует считать, что хозяйство каждого — в высшей степени социального характера. Но борьба интересов, противопологающая хозяйства друг другу, и основа этой борьбы — отсутствие общей их планомерной организации — создает иллюзию, будто каждое хозяйство живет индивидуально. Такая иллюзия неизбежна в мышлении товаропроизводителя, и притом законна для него: идея, что его хозяйство не личное, а частица общественного, ни в чем не облегчила бы его задач, но усложнила бы ход его практических размышлений и отняла бы твердую опору в необходимой экономической борьбе.

— Какая еще важнейшая иллюзия вытекает из понятия об индивидуальном хозяйстве?

— Фетишизм частной собственности. Индивидууму принадлежат в собственность орудия его работы, ее продукты, товары, которые он приобрел на рынке; и человек думает, что все это для него—нечто свое, без всякого касательства к другим людям, что его собственность на вещь есть отношение только между ним самим и этой вещью.

— Разве это не так в действительности? Разве собственность не есть отношение между человеком и вещью?

— Нет, собственность—нечто иное. Легко убедиться, что она на деле—не просто отношение человека к вещи. Такое отношение может быть лишь двоякого рода: техническое или идейное. Техническое, когда мы пользуемся вещью, перемещаем ее, изменяем, потребляем, разрушаем; идейное—когда мы ее познаем, исследуем, говорим о ней. Факты жизни показывают, что собственность—не то и не другое. Человек, получивший наследство, тем самым становится собственником целого ряда вещей, к которым он еще не имеет никакого практического отношения, которых даже не видал, о которых иногда и понятия не имеет. Грудной младенец бывает нередко собственником, напр., мастерской, орудий, которых не только применять, но и мыслить еще не может.—Этот пример особенно удобен, чтобы определить, в чем истинная суть дела.

Младенец — собственник своего имущества потому, что общество признает его таковым и активно ограждает в случае надобности его имущество, не допуская, чтобы оно было присвоено другими лицами. Если младенец случайно вырастет идиотом, он так никогда и не будет способен стать в техническое или идейное отношение ко многим „своим“ вещам; но собствен-

ником он останется, потому что общество не перестанет признавать и ограждать его имущество.

Очевидно, частная собственность — социальное отношение, а именно, отношение общества к данной личности и к данным вещам одновременно.

Но в мышлении товаропроизводителя собственность, это—вещь, принадлежащая к его индивидуальному хозяйству, и только,—вещь, связанная с ним самим лично. Отношение между людьми превращается в отношение между человеком и вещью.

— Какое значение частная собственность имеет для индивидуалистической культуры?

— Можно сказать, что именно она формирует индивидуализм: она завершает и закрепляет выделение личности из общества,—разумеется, только идеологическое, только в мышлении людей. Противопологая „свое“ и „чужое“, индивидуум резко отграничивается от других членов общества подобно тому, как его участок земли отгораживается забором от их участков. Люди—сотрудники по производству—мыслятся как „чужие“, т.-е. как существа безразличные или враждебные; вещи, имущество человека, части внешней природы—как „свои“, как нечто близкое человеку, жизненно с ним связанное. Фетишизм собственности охватывает и мысль, и чувство: когда дело идет о собственности, человек не-социально относится к другим личностям, и социаль-но—к вещам.

г) Отвлеченное знание.

— Что называется „отвлеченным знанием“?

— Знание, которое оторвалось от общественного труда—своей основы—и мыслится совершенно независимым от нее.

Знание началось с технического правила, и всегда было продуктом трудового опыта людей, а в то же время способом или орудием целесообразной организации дальнейшего труда. Таковым оно всегда затем и оставалось, но не всегда в этом виде мыслилось людьми.

Уже в авторитарных идеологиях затемнено происхождение знаний из общественной практики: религия приписывает их откровениям разных богов, а не видит в них того, что есть,—накопленного практического опыта предков. Но все же знание не оторвано от живого труда: оно понимается, как руководящие указания для деятельности людей.

В меновом обществе специализация отраслей и предприятий ведет разрыв дальше и глубже: познание принимает действительно отвлеченный, или „теоретический“ характер, который не только отделяется от характера „практического“, но даже обычно противопоставляется ему. Происходит это следующим образом.

В разных отраслях общественно-трудового механизма складываются самые различные знания. Если бы всякое из них прямо и сохранялось только в той отрасли, где оно выработалось, то его неразрывная связь с практикой оставалась бы всегда очевидною; не возникло бы и мысли о „чистом“, внепрактическом, отвлеченном знании. Но общество есть общество, т.-е., во всяком случае, общение людей, как бы ни сталкивались на рынке их интересы. Знание распространяется в обществе, и при этом меняет свой вид.

Так, напр., астрономия первоначально развивалась, как земледельческое знание; такой она являлась в странах древнейших цивилизаций, возникавших по долинам великих рек: у египтян, китайцев, вавилонян. Там все хозяйство находилось в зависимости от колебаний уровня вод, а колебания эти относились к определенным моментам года, т.-е. астрономическим положениям солнца среди небесных светил. Тут астрономические знания так и понимались, как руководящие указания для

земледелия и всех работ, к нему относящихся, напр., по регулированию реки и полевой канализации, и т. п. Теперь предположим, что через меновые связи те же знания перешли к какому-нибудь греческому торговцу, живущему в городе, или к ремесленнику: ясно, что для него они хотя и будут, может быть, очень интересны, но совершенно независимо от его собственной практики, мелко-торговой или ремесленной; а так как до чужой земледельческой практики ему, в силу специализации, нет дела, и он почти не знает ее, то приобретенные сведения о небесных телах будут представляться ему, как существующие сами по себе, как не имеющие отношения к труду людей, как „чистые“, т.-е. отвлеченные знания.

— Разве знания, возникшие в одной отрасли труда, не находят нередко применения и в других отраслях?

— Находят, и очень часто. Напр., та же астрономия, перейдя к купцам-мореплавателям, оказывала им незаменимые услуги в странствованиях, давая им точное руководство для того, чтобы определять направления и положение корабля на море. Но мореплаватели, получая астрономические знания готовыми от жрецов—организаторов земледелия, не могли считать астрономию наукой собственно-мореходной и не интересовались ею как наукой земледельческой. Значит, и для них она была просто „наукой“, и только, т.-е. они принимали ее в отвлеченном смысле, не как продукт и организующую форму труда. Они, разумеется, признавали, что астрономия полезна и нужна в их практике; но причина этого была для них недоступна; и единственный вывод, какой они могли сделать,—это тот, что в самом чистом знании, которое относится к небесным светилам, есть особенная сила, которой людям часто возможно пользоваться в своих практических интересах. Что это—сила прошлого общественного труда, накапливавшаяся в ряду поколений, они неспособны были понять, потому что от их сознания общественная связь труда была скрыта.